

Петровка, 38

Автор:

Юлиан Семенов

Петровка, 38

Юлиан Семенович Семенов

Золотая эра отечественного детектива

В знаменитом романе «Петровка, 38» сыщики уголовного розыска – полковник Садчиков, майор Костенко и старший лейтенант Росляков – приступают к расследованию нелёгкого дела об ограблении сберкассы.

Сотрудники МУРа полковник Алексей Садчиков и майор Владислав Костенко расследуют дерзкие разбойные нападения на сберкассы, совершаемые группой преступников. Сыщики разрабатывают самые хитроумные планы захвата, но злодеям все время удается уйти. Так продолжается до тех пор, пока оперативники не задерживают подростка Леньку, случайно оказавшегося в числе налетчиков и знающего, где скрывается банда...

Юлиан Семенович Семенов

Петровка, 38

© Семенов Ю.С., 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Интродукция

– Слышь, Сань, ты не думай, я умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нет, а пистолет – на боку. Иль сменщик его – тот молодой, Сань, но это ничего, он молодой, да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясися, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю... Ты не трясися, не надо, Сань...

– Я и не трясусь.

– Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я...

– Помолчи, Прохор.

– Да ты не тревожь себя, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-е, Сань. Человек как петух помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был.

– Когда он пойдет?

– Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, под мышки сунь, они свое тепло почуют, отойдут. Бить надо слабой рукой, она звереет, когда слабая-то.

Милиционер Копытов

Милиционер Копытов заступил на дежурство в двенадцать часов ночи. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула

эту песню, громяхая у плиты чугунными горшками.

Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил.

Он затянулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку – своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а ведь только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам потолковать с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамеечку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Особенно его поразило, когда доктор рассказывал, что никотином, если его собрать из одной пачки «Беломора», можно убить лошадь... И еще Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.

«Генке этого не выложишь», – подумал Копытов.

Он долго молчал, а потом сказал так:

– Эх, Генк, Генк... Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.

– Догоню.

– Не...

– Догоню, пап, ты лучше не предлагай. Я в школе кросс первым пробегаю.

Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».

– Я что сказал? – спросил он. – Или не слышишь? Беги!

Генка поднялся и снова уставился в землю.

– Давай до ворот! – сказал Копытов и побежал.

Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понимал, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы легко его обогнать. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:

– Вот штука какая... А ты, понимаешь, спорил со мной.

– Я не спорил.

– Упрямый ты.

– Я понарошку курю, пап...

– Она как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь. А ведь двадцать копеек за пачку. Помножь ее на триста – вот тебе и велосипед к празднику купим.

– А почему на триста?

– Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней – год. Умножь на двадцать две копейки, если «Беломор» считать.

– В году триста шестьдесят пять...

– Ну, округлил я.

– Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.

– Так ты ж и есть подросток.

– Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения – разве это машина?

– Я тебе переключение сам устрою.

– А сможешь?

– Чего не смочь? Конечно, смогу.

Генка вздохнул, а потом улыбнулся.

– Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на папиросы деньги давать. И потом – я не «Беломор», а «Дукат» все больше курю, а он всего семь копеек стоит.

– Высеку я тебя, Генка, – сказал Копытов, – а то уж больно ты дерзкий.

– Я не буду курить, пап, честное слово.

– Еще мать узнает... Знаешь, что будет?

– Знаю...

– Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело...

Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.

– Какое дело? – спросил Генка.

– Да так, к слову...

– Про двести с прицепом, что ль? – засмеявшись, сказал Генка. – Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду...

Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать.

- Здравствуйте, Кузьма Семеныч, – ответили дворники в один голос.
- Все спокойно у вас?
- Порядок.
- Лешка из девятой не буянил?
- Притих.
- Мы ему в отделении сказали: еще раз напьешься – выслем из Москвы...
- Не, пока не нажирался, – сказал дворник Хайрулин.
- Парень хороший. На баяне играет, – сказал дворник Афонин.
- Слышь, Афонин, – спросил Копытов, – а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?
- Есть.
- А взрослые?
- Взрослых давно не завозили...
- Но бывают в продаже-то или химичить надо?
- Иногда бывают...
- А сколько стоит, не знаешь?
- Откуда я знаю, – ответил Афонин, – я свое откатал.
- Ну ладно... Завтра узнаю.

- Скоро к нам вернетесь?
- А вот участок обойду...
- Да посидите, Кузьма Семеныч... Покурим...
- Вернусь – и покурим... Я недолго...

Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревцо и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревцо к шесту, вбитому рядом.

Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы.

Копытов подошел поближе и сказал:

- Ребятки, домой пора. Поздно.

Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.

- И чего напились? – спросил Копытов. – Где живете? Пошли, помогу дойти хоть... Вот ведь нажрались-то, а...

Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.

- Или ты больной? – спросил Копытов. – Никак больной?

- Б-больной.

Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на

землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабу Фросю. Она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему – отныне и навсегда.

– Пусть шофер включит прожектор, – сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.

Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький старый человек с большими руками крестьянина. Его руки словно жили еще. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.

– Вы еще будете долго работать? – спросил он эксперта.

– Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?

– Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.

Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось.

– Он все смеялся: «Велосипед куплю», – сказал дворник Афонин.

– Он тут у вас ни с кем не ссорился?

– Да, господа, он же человек мягкий.

– Был, – поправил дворник Хайрулин, – был человек...

Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.

– Там машин нет?

– Пусто.

Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:

– Проходящая машина была, тормозной след посередине улицы оборван.

– Вы замеры?

– Да. И ширину, и длину.

– Позвоните к дежурному, пусть сообщит в ОРУД.

– Хорошо...

После этого Росляков начал осторожно – метр за метром – осматривать землю вокруг убитого милиционера. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как однажды комиссар сказал ему:

– Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они, пока место, куда надо ступить, не ощупают, ногой не шевельнут.

Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:

– Тут есть след.

– Сейчас.

Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.

– Товарищ лейтенант, – окликнул его эксперт, – у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.

...Последовавшие за этим убийством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей.

Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:

– Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание...

Первые сутки

Специальная группа

«8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но, когда они вышли, переулок был пуст».

«12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, дом № 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».

«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А. В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И. Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но

промахнулся. Преступники скрылись».

Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:

– Таким образом, все эти три ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется... Выделяю специальную оперативную группу. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте его из отпуска.

Кассир Ямщикова все время терла щеки, будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и, когда начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.

– Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы, после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла...

Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич. Улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».

Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.

– Самсонов, – сказал он дежурному. – Да нет же, лучше я по буквам... Семен, Анна, Михаил... Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь.

Папа с мамой

Костенко даже не успел подняться к себе – дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему.

Костенко вошел в кабинет.

– Знакомьтесь, – сказал комиссар, – это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.

Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.

– Здравствуйте, – сказал Костенко.

– Вот знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.

Самсонов спросил:

– У вас курить можно?

– Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.

– Благодарю.

– Благодарить будете, когда сын отыщется.

– Я не спал всю ночь.

– Еще бы! Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.

– Уже...

– Ну?

– Там ничего.

– Вы фотографии сына принесли? – спросил комиссар.

– Да.

Самсонов положил на стол десяток фотографий Ленки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:

– Сами снимаете?

– Жена. Я только проявлял.

– Проявитель готовый берете или дома составляете?

– Нет, сам составляю... Вместе с Ленкой.

– Семейная артель?

Самсонов махнул рукой.

– Семейная канитель, – сказал он, – какая тут, к черту, артель!

– Пленка хорошая. Где покупали?

– Это немецкая.

– Мелкозернистая?

– Да.

– А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел – чувствительность сорок пять, и только.

– Вы с блицем попробуйте снимать.

– Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.

Костенко сразу же позвонил к Ямщиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.

Ямщикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:

– Мальчик стоял у двери.

– Это точно?

– Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались мне взрослыми.

– Стрелял не он?

– Нет, другой, в очках.

– А этот так и стоял у двери?

– Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Совершенно верно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.

– Понятно. А как книжка называлась, не помните?

– По темно-красному фону – черные слова, а я близорукая, название не разобрала.

Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу, без колебаний опознала Леньку Самсонова.

– Он, ирод проклятый, – сказала женщина, – гадюка такая...

– Думаете, ирод? – переспросил Костенко и улыбнулся. – Ему всего семнадцать...

Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал:

– Он.

– Хорошо. Спасибо вам.

– Мне бы надо постановление... Посмотреть их квартиру...

– Вы давайте сюда подъезжайте. Тут решим.

Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:

– Ну в прятки нам играть или говорить открыто?

– Конечно, открыто.

– Тогда рассказывайте, Костенко.

– Ваш сын, – сказал Костенко, откашлявшись, – вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.

– Так, – сказал Самсонов. – Так, – медленно повторил он.

– Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?

– Он должен вернуться домой, если жив.

– Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? – спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.

– Наша, – тихо ответил Самсонов.

– Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?

– Что?!

– Вы проектировщик, в тайге бываете, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.

– У меня есть, но все это заперто в столе.

Комиссар снял трубку телефона, медленно, негнущимся указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:

– Машину к подъезду.

Опустив трубку, он спросил:

– Как сердце, отпустило?

– Сейчас легче...

– Значит, так. Надо будет сейчас произвести в вашей квартире обыск. Пока будете ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Ленки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте. Да, когда появится Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?

– Девятьсот шестидесятая.

– Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».

– До свидания, товарищ комиссар.

– До свидания, товарищ Самсонов.

Когда он вышел, комиссар сказал:

– Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят – золотая голова.

Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Леньки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с крупными буквами: «Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:

– Та самая.

Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:

– Это ошибка, послушайте! Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь! Скажи им, что это ошибка.

– Нет, – ответил Самсонов, – это не ошибка.

– Он несовершеннолетний, – сказал Костенко, – так что, может быть, учтут.

– Нет, это ошибка, – повторила Людмила Аркадьевна, – несчастный мальчик, он ничего не подозревает.

– Перестань, – сказал Самсонов. – Надо было раньше думать.

– Холодный и черствый человек, – горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, – сердце у тебя мохнатое.

– У меня, наверное, уже нет сердца, – ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.

– Уходите же, – сказала Людмила Аркадьевна, – ему плохо.

Костенко тихо ответил:

– Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.

– Это произвол, – сказала Людмила Аркадьевна.

– Нет, – ответил Костенко, – это не произвол. Это засада.

Где Ленька?

В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.

– Десятый «А» где? – спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.

– На пятом.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то кричали ребята, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:

– Леньку позови, пожалуйста.

– Какого?

– Самсонова.

– Так он же исключен.

– Почему?

– А он бульдога в класс привел.

– Ну и что?

– Ничего. Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится. Ленку за гриву в учительскую, оттуда в милицию – и «арриведерчи, Рома».

– Это когда же было?

– Позавчера.

– А сейчас он где? Дома?

– Что вы!.. Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинился, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.

– А это кто?

– Лев Иванович, учитель по литературе. Подпольная кличка – Лев без единого зуба.

– Почему Лев должен знать?

– А он у Льва любимчик. Стихи пишет.

– Хорошие?

– Ничего. Мне стихи бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?

– Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг, тот... этот... Ну...

– Сема?

– Да.

– Сейчас позову...

Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам. Из-за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:

– Это ты от Ленки?

– Нет. Сам его ищу, – ответил Росляков. – Он у тебя заперся?

– Да нет!.. Я его обыскался – нигде нет. Он ведь псих. Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим.

– Ладно, – ответил Росляков и пошел к директору.

– Не может быть, – тихо сказал директор. – Когда это случилось?

– Позавчера.

– Позавчера? В какое время?

– В четыре.

– В час мы его исключили из школы.

– А в милицию его за бульдога надо было обязательно таскать?

– Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.

– Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а?!

- Да, да, вы правы, конечно.
- Великое преступление – бульдога привел!
- С другой стороны, не маленькое, по школьным законам.
- Закон есть один. Школьными бывают порядки.
- Да, да... Какой ужас! Талантливый парень, просто не верится... Что же делать? Где хоть он?
- Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?
- Он общительный мальчик. У него много товарищей.
- А Сема?
- Рывчук?
- Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.
- Да, это он. Кажется, они дружат.
- Какой у него адрес, можно узнать?
- Сейчас.

Директор вернулся и положил перед Росляковым листок бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.

- Да, кстати, – сказал директор, – он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент...
- Я позвоню, – сказал Росляков. – Вы разрешите?

– Прошу.

Росляков набрал номер и сказал:

– Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин, адрес надо выяснить.

Он положил трубку, вздохнул и спросил:

– А Лев Иванович ничего знать не может?

– Лев Иванович... Погодите, погодите... Вы правы... Очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз «окно».

Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:

– Чем могу?..

Директор сказал смущенно:

– Вот товарищ...

– Я из угрозыска.

– Очень неприятно.

Росляков засмеялся:

– Даже так?

– Именно так... Угрозыск в школе – это всегда тревожно... Что вас к нам привело?

– Самсонов.

– Леонид?

– Да.

– Что-нибудь по поводу собаки?

– Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы.

Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:

– Когда это было?

– Позавчера в четыре.

– Тут не может быть ошибки?

– Нет. Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?

Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.

– Нет, – ответил он наконец, – я ничего о нем не знаю.

– Самое худшее заключается в том, – сказал Росляков, – что парень украл у отца оружие. Он как волчонок сейчас.

– Раскаяние и чистосердечное признание... Добровольная отдача себя в руки властей – это учитывается юрисдикцией или сие формальность? – спросил Лев Иванович.

– Учитывается, – ответил Росляков, внимательно поглядев на учителя. – Сие по новым временам – не формальность, смею вас уверить...

Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты:

– Ты ноги, пожалуйста, вытри, я сегодня натер пол!

Ленька стоял в коридоре большой коммунальной квартиры возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, а кровь прилиwała к голове и щекам. Потом он вошел и сказал:

– Здравствуйте, Лев Иванович.

– Здравствуй, Леонид. Садись.

– Спасибо. Постою. В ногах правда.

– Скверное настроение? – спросил старик.

– Скверное. Хорошее какое слово – «скверное». Почему-то оно уходит из устной речи.

– Век требует более резких определений, да? «Дрянное» – это, по-видимому, точнее?

– В моем положении – да.

– А что случилось?

– Да ничего особенного... Так, глупость...

– У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?

– Вроде бы...

– Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних.

– Он был жестоким.

– Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется.

– Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович?

– Можно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской и Кибальчиком, которые убили императора Александра Второго, а ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал, обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.

– А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?

– Какую глупость?

– Просто глупость. Обыкновенную глупость.

– Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо предельно эгоцентричен. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах – также преступно. И в общегосударственных, и в человеческих.

– А если преступление рождено глупостью?

– Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то, и другое должно быть наказуемо.

– Но преступление не принесло никому никакого вреда.

– Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.

– Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович...

– Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.

– Лев Иванович...

– Да.

– Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.

– Чепуха. Он устроен логично, а потому – прекрасно.

– Логична геометрия, – сказал Ленька, – а что в ней прекрасного?

– Мы же говорим о мире, а не о геометрии...

– Лев Иванович...

– Слушаю тебя...

– Можно, я попью воды?

– Конечно.

Ленька ушел на кухню, и старик услышал, как он пустил воду из крана. Учитель знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, «из земли». Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.

«А ведь это все какая-то дикость, – подумал Лев Иванович, – наваждение...»

Этот не знает

Тюрин – выпускник той школы, где учился Ленка, – сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услышал протяжный звонок и пошел открывать дверь.

– Кто там?

– С Мосгаза.

Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:

– Только извините, я в трусах.

– В трусах – не в бюстгальтере, – ответил Костенко, – переживу.

Тюрин засмеялся.

– Веселый Мосгаз, заходите...

– Я тягу проверить, – сказал Костенко.

– Тянет хорошо.

– Порядок есть порядок.

Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске.

– Вы б поддержали меня, а то загремлю, – попросил Костенко.

– Вы долго будете тягу смотреть?

– Тягу не смотрят, ее чувствовать надо...

– Тяга – она, как говорится, и есть тяга...

Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать:

– Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала.

– Людмила Аркадьевна?

– А бог ее знает... Фифочка.

– Женщина с характером. Кого угодно доведет.

– Это уж я не знаю, а меня она довела. А сама стоит и плачет.

– Из-за Ленки...

– Это кто? Хахаль?

– Сын.

– Женился?

– Из дому сбежал.

– Куда?

– Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался.

– А почему в Сибирь?

– Я там в экспедиции был, с ума сойти, как здорово, ему кое-что рассказал, так он мне потом говорит: «Сбегу к чертовой матери».

– В той комнате у вас стена капитальная?

– В столовой?

– Да. Там, где дверь закрыта.

– Не знаю. Вы сами посмотрите.

Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Ленки там быть не могло. Он вышел в коридор.

– Придется еще прийти к вам, – сказал Костенко.

– Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.

– Ясно. Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу выворотит. Дождусь, пока ее парень вернется.

– Ленка? Он не вернется.

– Неужто мать не жалко?

– Нет, жалко, конечно... Родители как-никак.

– Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то...

– Думаете?

– Точно. Переживает – лицо как свекла стало. А что вы, друг ему?

– Друг не друг, а товарищ.

– Ну, пока.

– Всего хорошего.

– Так наши еще раз зайдут.

– Хорошо. Только утречком.

– Ясно. До свидания.

– Счастливо.

Леньке плохо

Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.

– Алексей Алексеич, – сказал он, – вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?

– Вас интересую я?

– Меня интересуется все.

Самсонов отвернулся к окну.

«Позавчера, – вспоминал он. – Что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов. Потом вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять...»

Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно и тревожно зазвенел звонок. Стук клавишей сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он

поморщился.

Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.

«Откуда это у нее? – подумал Самсонов. – Такая славненькая, а улыбается, как звереныш».

– Вы звали меня?

– Да. У вас еще много работы?

– Пять страниц.

– Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.

...Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль. Он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.

Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство от контузии, стала невыносимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:

– Вам плохо?

– Немножко, – ответил Самсонов сквозь зубы.

– Тут в гастрономе воду продают.

– Спасибо, – сказал Самсонов и пошел в гастроном.

Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда проектировал дорогу от Магадана к прииску Стремительному.

Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посередине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.

«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр, – сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. – Сейчас начнется...»

– Людочка, – сказал он тихо, – я совсем замотался, прости меня.

Людмила Аркадьевна молчала.

– Я готовился к завтрашнему совещанию у...

Она перебила его:

– У какой-нибудь очередной бабы?

– Как тебе не совестно!..

– Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!

– Пойди работать.

– Негодяй!

– Ну вот...

– Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!

– Здесь же Ленька...

– Он взрослый мальчик, он все понимает!

Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.

– Как мартовский кот, – продолжала говорить Людмила Аркадьевна, – напакостил – и дал деру!

– Это мы так воспитываем сына?

– Ты еще издеваешься надо мной!

– Миронова и Менакер. Театр миниатюр.

Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала:

– Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я... я...

– Повесишься, – устало отозвался Самсонов, – знаю, слышал.

– Мальчик, – крикнула Людмила Аркадьевна, – послушай, как глумятся над твоей матерью!

Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами.

– Что с тобой?

– Это ты доводишь его до болезни! – крикнула Людмила Аркадьевна.

– Что с тобой? – повторил Самсонов, поморщившись.

– Ничего, – ответил Ленька, – просто я вас ненавижу...

И – ушел из дому.

Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:

– В общем-то ничего особенного позавчера не произошло.

– Ссоры дома никакой не было?

– А это, пожалуй, наше личное дело.

– Если бы не ограбление приходной кассы.

– Вы проводите связь между этими событиями?

– Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю...

– Ну, дальше? – попросил Лев Иванович.

– А дальше я хотел все рассказать отцу.

– Почему не рассказал?

– Да так...

– Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.

– Где?

– В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, если хочешь – геометрической правдой.

– Ну, в общем, им было не до меня.

– Кому?

– Отцу. Матери.

– Какая-нибудь семейная неурядица?

– Да.

– Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.

– Если восемь лет одно и то же – касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.

– Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят они наиотвратительнейшими.

– «Я помню чудное мгновенье...» не с радости написано.

– Верно. Оно – от грусти. Но тоска – нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?

– Да.

– По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?

– Что вы, Лев Иванович...

– Ну, полно.

– Лев Иванович, можно мне вас попросить?

– Пожалуйста.

Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.

– Что это?

– Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?

Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:

– Ты стрелял из него?

– Нет.

– Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше не говорить вовсе.

– Я же подведу человека.

– Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно...

– Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца – ни в чем не виноватого человека?

– Я не хочу сейчас казаться моралистом, Леонид. Только я очень верю: ты должен отнести им этот револьвер.

Ленька усмехнулся и сказал:

– Знаете, не надо вам ехать со мной.

– Отчего так?

– Я не хочу, Лев Иванович. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон – ноль два, добавочный – дежурного. Все очень просто.

– В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.

– Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев

Иванович? Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы?!

– Успокойся...

– Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя, и вас, когда только что говорил о стихах, и о «чудном мгновенье», и добре, и зле! Я слышу сейчас только одно слово: тюрьма! тюрьма! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!

– Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли в тридцать седьмом году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского!

– Это к тому, что человек живуч! Так, Лев Иванович?

– Уходи, – сказал старик. – Мне неприятен разговор с тобой.

– Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: ваши сыновья были героями, а я в шестьдесят втором – негодяй и дурак. Не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свиданья, Лев Иванович.

Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика – сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами.

У Леньки затряслись губы... Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни; когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи; когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с

кресла и не выходил в фойе. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.

Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:

– Не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький...

Старик погладил его по голове и тихо сказал:

– Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.

Алиби – Хлебников

«После того как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказала мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я хотел посоветоваться, в школе не было, дома – тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал, что же предпринять. Настроение у меня было отвратительное. Около гастронома № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева «Молодая гвардия» и в ней расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку, тетю Катю, вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она ответила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь-то обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе – это очень тяжкое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Без всяких хулиганских целей. Я думал, что он будет спокойно сидеть.

Потом я снова ходил по улицам, не зная, что предпринять, и около того же гастронома я встретил двух молодых людей, которые предложили мне присоединиться к ним на пол-литра. У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить, потому что настроение было отвратительное и положение – безвыходное. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили; я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке, называл своего приятеля обезьяньим именем «Чита». Чита – невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт», – они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, в кожаной куртке, вытащив «наган», сказал: «Руки вверх! Ни с места!» Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: «Иди к окну». Я отошел к окну. У меня затряслись руки от страха, и я положил книгу Фадеева на стол; по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: «Вы с ума сошли! Это же грабеж!» Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал – не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном, и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что, когда мы подходили к кассе, длинный сказал: «Витька – б..., оставил нас без колес». Кто такой Витька и что значит «колеса», не знаю, и разговора об этом больше не было.

Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет, объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною собственноручно. Леонид Самсонов».

Садчиков, прилетевший из отпуска, прочитав показания Леньки, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдет по кличке Чита. Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».

– По всем отделениям? – негромко спросил Костенко.

– А что д-делать? Надо по всем.

– Хорошо. Я схожу позвоню к дежурным.

– П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что этот Чита проходил через дежурную часть по какому-то х-хулиганству.

– Я посмотрю.

– Чита – это уже зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь мне.

– Я верю.

– Н-ну извини, – усмехнулся Садчиков.

– Да нет, пожалуйста, – ответил Костенко и подмигнул Леньке.

– Это п-присказка у нас такая, – объяснил Леньке Садчиков. – Ш-шутим мы, понимаешь?

Из научно-технического отдела принесли «вальтер» Самсонова.

– Из этого пистолета не стреляли, – сказал эксперт. – Пробный выстрел дал отрицательный ответ: в касе стреляли из другого пистолета.

– Благодарю вас, – сказал Садчиков.

Он перечитал показания Леньки еще раз, отложил их в сторону и спросил:

– Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?

– Мне не хочется.

– А я пом-мираю от голода. Слава, – попросил он Костенко, – может, ты сходишь в гастроном?

– Что купить?

– Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.

– У меня от них скоро судороги начнутся, – сказал Костенко. – Была бы плитка – пельменей сварили.

– Спроси Льва Ивановича, – сказал Садчиков, – старикан тоже, наверное, голоден. Кстати, где Росляков?

– Я его отпустил до двенадцати.

– Ну х-хорошо. Иди за сыром.

– Иду.

– Послушай-ка, Леня, – сказал Садчиков, поднявшись из-за стола, – давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, нап-прягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?

– Очень.

– Помнишь, «О шея лебедя, о грудь, о барабан!»? Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям... Помнишь эт-тот рассказ?

– Помню. А вы что, Чапека читали?

– Нельзя?

- Нет, можно, конечно, только я думал...
- Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?
- Нет.
- Правильно делаешь. Я б-бросил – разжирел, снова пришлось начать.
- Скажите, а меня надолго посадят?
- Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?
- Восьмого? Это какой день?
- Суббота.
- Учился. Потом мы уехали на дачу.
- Когда кончились уроки?
- У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.
- Это что, зиф-фовское из-здание?
- Да.
- А что ты делал двенадцатого мая? Около шести.
- Не помню.
- Надо вспомнить.
- Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?

Садчиков подошел к Леньке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:

– Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты с-совершали грабежи. Я бы не спрашивал т-тебя об этом, если бы сейчас был день. Просто мы бы вызвали сюда тех людей, которые видели грабителей, и предложили им о-опознать тебя. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону, если что было, давай все в открытую...

– Какой смысл мне тогда было самому приходить к вам? Я ведь сам пришел к вам... Никто меня не тащил... Какой смысл?

– Никакого, – согласился Садчиков. – Пожалуй, н-никакого... Ладно... Посиди, сосредоточься, постарайся вспомнить детали...

Костенко вернулся с покупками.

– Духотища, – сказал он, – не иначе как к грозе.

– Сейчас я вернусь, – сказал Садчиков, – а вы п-пока закусывайте.

Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке.

– Поешь, – предложил он, – а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.

– Уже написан. Только не на кишку.

Костенко хмыкнул.

– А ты нос не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?

– На вокзале.

– На каком?

– Сначала на Казанском, а потом на Ярославском.

– Что, в Сибирь хотел отправиться?

– Откуда вы знаете?

– Мы, дорогой, все знаем. Работа такая.

Вернулся Садчиков и спросил Леньку:

– Слушай, а вы Хлебникова к-купили?

– Купили.

– А еще что купили?

– Еще? Подождите, что-то мы еще купили... А, вспомнил, Бабея! «Конармию». И, по-моему, «Максимы» Ларошфуко.

– Ну, слава богу, эт-то вроде сходится.

– Что, с первого дела отпадает? – поинтересовался Костенко.

– Вроде да, – ответил Садчиков. – Ты, Леня, не стесняйся, налетай на пищу. Сырки ешь – они м-мягкие... Что-нибудь про т-тех вспомнил?

– Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в «Астории» пожрать». Это когда у нас закуски не было.

– Пожрать – значит п-поесть?

– Да. Но это ведь не я. Вы просили вспомнить детали... Это Чита так говорил...

– Великий и могучий, – вздохнул Костенко, – благозвучный и прекрасный русский язык! Мордуют беднягу со всех сторон. Да здравствует Солоухин, хоть и достается бедняге...

– А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет?

Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:

– Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся, думал, не выстрелил бы.

Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:

– Это сейчас смешно... Вы меня что, сразу в камеру посадите?

– А как ты думаешь?

– Не знаю...

– А все-таки?

– Наверное, придется.

– В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но, если т-ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят.

– Домой?

– Не в Сибирь же, – ответил Костенко.

В дверь постучались.

– Да!

Вошел Лев Иванович.

– Прошу меня извинить... Но уже довольно-таки поздно... Мальчику надо завтра рано вставать... Вы разрешите нам уехать?

– Вам – да.

– А ему? Он ребенок. И потом это нелепость, поверьте мне.

– Лев Иванович, – сказал Костенко, – а что случится, если вы сейчас вместе с ним или он завтра один встретите на улице тех двух? Убийц и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо. Понимаете?

– Но почему вы думаете...

– Чтобы потом его папа с мамой не плакали, только для этого именно так я и думаю.

– Лев Иванович, – сказал Ленька, – спасибо вам. Вы не беспокойтесь. Вы поезжайте спать, а то уже поздно...

– Завтра мы вам позвоним, – пообещал Костенко.

– Днем... Ч-часа в два...

– Это же непедагогично... Сажать в тюрьму мальчика...

Садчиков нахмурился.

– Знаете, о п-педагогике лучше все же н-не надо. Момент не тот.

...Через час приехал Самсонов.

– Где мой сын? – спросил он по телефону из бюро пропусков. – Я прошу свидания с ним.

Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:

– Он спит.

– Я прошу свидания! Поймите меня, товарищи! Вы должны понять отца! Хоть на десять минут... Хоть на пять! У вас ведь тоже есть дети!

– Тише, вы! – попросил Костенко. – Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром. Часам к десяти кое-что прояснится...

И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.

– Думаешь, нет? – спросил Костенко.

– Думаю, нет. Он больше ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.

– Тоже, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?

– Давай.

– Черт, нет плитки!

– Пельменей тоже нет.

– Я о чае.

– Г-гурман...

– А что делать?

– Ну, извини, – пошутил Садчиков.

– Да нет, пожалуйста, – в тон ему ответил Костенко.

Вторые сутки

Вышли на Читу

Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и – возле окна – Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога...

...У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма – это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытейших стариков-сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор – и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких...» Комиссар тогда очень рассердился: «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все чтоб одинаково и привычно? Времена иные пришли. И слава богу, между прочим. Красоту надо в людях ценить, для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человецех». Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить он вечером, по обыкновению, долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:

– Берите меня к себе, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.

– Грамматика у тебя страдает, – сказал комиссар. – Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь – «терпеть ненавижу»... Учиться тебе надо... А что на своего брата взъелся?

– Есть причина, – сказал Голубев. – Их душить надо. Псы, нелюди, паразиты, стариков обижают, я их маму в упор видал.

Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма – уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».

Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.

– Ну, – сказал комиссар, – это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растолкуй – не понимаю...

– Я этого растолковать не смогу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю...

– Потому что был пьяный?

– Да.

– А я и не прошу, чтоб ты в себе – в пьяном – копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны.

– Бывают провалы памяти...

– Ты думаешь, у тебя был провал?

– Да.

– Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься... Громко можно загреметь, мил-душа, надолго.

– Так я уже...

– Уже ты дурак, – сказал комиссар. – Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть, серьезнейшая, между прочим, разница.

В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул.

«Волнуется старик, – отметил комиссар, – на Дон-Кихота похож. Такой же красивый... Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь... Именно – пронзительную».

– Разрешите, товарищ комиссар? – заглянув в кабинет, спросил Росляков.

– Прошу.

Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника.

– Садитесь, – сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя – как все люди, страдающие дальностью, – дактилоскопические таблицы, а потом, отложив все в сторону, попросил:

– Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.

– Я б его в стихах описывать не стал.

– «Социальный заказ» – такой термин знаешь? Проходили в школе?

– Проходили, – улыбнулся Ленка. – Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто покрашенный. На лбу, около виска, шрам.

Большой шрам...

– Продольный?

– Да.

Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Ленке:

– Этот?

– Этот, – сказал Ленка и поднялся со стула, – это Чита, товарищ комиссар.

Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом вразвалочку шел посередине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и гроыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.

Костенко шел по правой стороне хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была окончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.

Заместитель председателя исполкома знал Костенко – он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами «Герцеговина-Флор».

– Знаю, знаю, – сказал он, – в ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ... Трудное у нас положение, очередь-то громадная...

– Я – первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других... Непорядок получается... Всякому терпению приходит конец – рано или поздно...

– Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении...

– У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой... Когда все-таки квартиру дадите?

– Зимой, – сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, – обязательно зимой.

– Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой...

– Я помню, – поморщился заместитель председателя и сухо закончил: – Можете, в конце концов, написать на меня жалобу.

Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью; он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кровать Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.

– Мамаша, – спросил Садчиков лифтершу, – а у вас к-кабина вниз ходит?

– Еще чего! – ответила лифтерша. – Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а отсюда – одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас, хорошая лестница, не грех и спуститься пехом...

– Костик не уходил сегодня?

– Из восьмой квартиры? Так он тут не живет уж месяц.

– У Маруськи, наверное? – спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя.

– У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.

– Уж и д-дремлет, – сказал Садчиков и открыл дверь лифта. – А ты, Валя, пешочком, по лестнице, она у них покатая...

Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.

– Иди в д-домоуправление, – шепнул Садчиков Костенко, – пусть шлют понятых и слесаря – взламывать б-будем.

Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные.

Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанных на стене.

– Между прочим, одни женские имена.

– Это по твоей линии, – сказал Костенко. – В женских именах ты дока.

– Осторожнее на поворотах, учитель, – предупредил Росляков, – я стал обидчивым, работая под твоим началом.

– Ну, извини...

– Да нет, пожалуйста.

Они осмотрели всю квартиру – метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.

Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал:

– Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?

– Поручи это Вальке, – предложил Костенко. – Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком.

К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку.

В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.

Гипатов

Он сидел дома в голубой заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.

– Я из уголовного розыска, – сказал Росляков, – вот мои документы.

– Милости прошу...

– У вас в группе учился Назаренко? Константин?

– Назаренко?

– Да. Назаренко...

– Учился... Как же, как же...

– Вы его помните?

– «Кто не знает собаку Гирса?» – так, кажется, у Лавренева? Конечно, помню. Подонок.

– Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности...

– Из меня плохой доктор Ватсон.

– Да я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна.

– Столько лет прошло... Трудно, как говорится, вспоминать.

– А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните... Врагов... По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.

Гипатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» – строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но, как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика – в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно, они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами. «Духи-то, кажется, были «Кармен», – вспомнил Гипатов. – Почему-то все пьяницы любят женские духи». Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко – тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки.

– Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, – вздохнул Гипатов, – кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был или, наоборот, добрым гением

– другое дело. Запоминают заметных. А он был вроде амебы – полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности...

– Плохо дело...

– А черт с ним, найдется, я думаю, а?

– Должен, конечно.

– Когда схватите – от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.

– Чего же он боялся?

– Силы... Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится – ну, такой, что на ногах не стоит, – он ему с ходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень, в сильных быстрее влюбляются, да и боятся их... А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок...

Шрезель

Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.

– Понимаете, – вдруг снова взорвался Шрезель, – так мне трудно вспоминать! Предлагайте какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке, – он усмехнулся и повторил: – Только по подсказке... Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.

– Почему?

– Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом... И глаза у него хорошие...

– Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.

– Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. На Западе он в моде.

Костенко был по-прежнему зол – он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал:

– В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно...

Шрезель засмеялся:

– За что?

– За Ламброзо. Он, знаете, как определяет грабителя-рецидивиста?

– Не помню.

– Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш «словесный портрет» еще раз.

– Неужели я такая образина? – спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: – Разве у меня нижняя челюсть выступает?

– Должен вас огорчить...

– О, погодите, у него внизу, вот здесь, – Шрезель открыл рот и показал два передних зуба, – были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли... Я могу фантазировать, если мне помогают! Еще вспомнил: он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что выходит на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.

– Что, вместе с ним убегали?

– Да что вы... Неужели я похож на тех, кто «вертит динамо»?

– А откуда вам известно про его штуки?

– Говорили в институте...

– Чего ж вы ему тогда холку не намылили?

– Не пойман – не вор.

– Тоже верно.

– Да, вот еще что... У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон – и навечно.

– А почему тогда его выгнали из института?

– Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лени ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится: я часто впадаю в какую-то духовную спячку – ничего не интересует, все мимо, мимо... Хочется сидеть, а еще лучше – лежать и не двигаться... У вас так не бывает? Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.

– А из какого общества?

– Я был далек от спорта.

– Как звали тренера, не помните?

– Нет, что вы... Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем...

– Они днем грабили, – сказал Костенко, – сволочи.

– У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать...

– Владислав Николаевич.

– Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.

Костенко улыбнулся:

– Благозвучно. Ему бы на сцену с таким именем.

Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.

– Очень мне с ним трудно, – вздохнул он, – жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница – не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!

– Она умерла.

– Знаете, просто чудесная была женщина. Тихая такая, добрая... Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке – крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам – немножечко гастроном. Люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание – это кухня... Я только на кухне, у

плиты, по-настоящему воодушевляюсь, только там я смел в решениях, только когда варю борщок – я чувствую себя личностью... Мы на этой почве очень подружились с его матушкой...

– Вы у них часто бывали?

– Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться – это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.

– Смекалистый был парень?

– Да. Очень. Но я же говорил вам – леность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил.

– А деньги откуда?

– На галстук-бабочку?

– Нет. На красивую одежду?

– Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще очень был элегантный парень. Такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.

– За что?

– Никто не знает. До сих пор.

– Вы адрес Кодицкого помните?

– Конечно.

– Давайте-ка я запишу.

Кодицкий

– Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.

– А в чем д-дело? – поинтересовался Садчиков.

– В нас с ним.

– Вы мне мож-жете рассказать?

– Нет.

– Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупички сведений о нем.

– Это ясно.

– Так что нам нужна ваша помощь.

– Я же говорю – я тут необъективен.

– А что вы можете рассказать о нем – даже необъективно?

– Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу – косвенного. А он про это ничего не знает... Так что – какой смысл?

– З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж

договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С «наганом» в кармане, ясно это в-вам? Он сейчас ходит по городу с оружием!

– Вы будете протоколировать то, что я скажу?

– Вы не х-хотите этого?

– Я требую, чтобы этого не было.

– Обещаю вам.

– Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.

Я тихо ушел из квартиры – они не слышали меня – и ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы... Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали аборт. И родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А ведь она была честным человеком. Честный же человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно – мне где-то очень трудно судить об этом – совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по горному Виллю.

– Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.

– Зачем?

– Для будущего. И за п-прошое.

– Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.

Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:

– Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я окончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю не больше месяца в году... Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.

– Большая экспед-диция? – спросил Садчиков.

Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:

– Там видно будет.

– Но Шрезеля вы с собой не возьмете?

– Аппарат у вас четко работает...

– Иначе бы за что деньги платить?

– Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею.

Опознают

Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве – торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/semenov_yulian/petrovka-38

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)